



# Павел Бажов

Уральские сказы  
т. 1

*ФТМ*



Собрание сочинений

Павел Бажов

**Уральские сказы – I**

«ФТМ»

1952

## **Бажов П. П.**

Уральские сказы – I / П. П. Бажов — «ФТМ», 1952 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-4467-0910-6

Настоящее издание сочинений П. П. Бажова печатается в трех томах. Первый том состоит в основном из ранних сказов Бажова, написанных и опубликованных им в предвоенные годы и частично во время Великой Отечественной войны. Сюда относятся циклы полуфантастических сказов: о Хозяйке Медной горы и чудесных мастерах; старательские – о Полозе, змеях – хранителях золота и о первых добытчиках; легенды о старом Урале. Второй том содержит сказы, опубликованные П. Бажовым в конце войны и в послевоенные годы. Написаны они в более строгой реалистической манере, и фантастических персонажей в них почти нет. Тематически повествование в этих сказах доходит до наших дней. В третий том входят очерковые и автобиографические произведения писателя, статьи, письма и архивные материалы.

ISBN 978-5-4467-0910-6

© Бажов П. П., 1952

© ФТМ, 1952

## Содержание

Медной горы хозяйка	5
Малахитовая шкатулка	11
Каменный цветок	24
Горный мастер	36
Хрупкая веточка	44
Железковы покрышки	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Павел Петрович Бажов

## Уральские сказы – I

### Медной горы хозяйка

Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то.

День праздничный был, и жарко – страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумешках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что подойдет.

Один-то молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железню руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, – ровно его кто под бок толкнул, – проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать – девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть-девка. Слыхать – лопочет что-то, а по-каковски – неизвестно, и с кем говорит – не видно. Только смешком все. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

– Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежда-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей.

А одежда и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить. «Вот, – думает парень, – беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта – малахитница-то – любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

– Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько. Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепитесь. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка. Ну, а он парень – ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

– Некогда, – говорит, – мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом и говорит:

– Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит – делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он обошел и видит-ящерок тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется.

– Не расступи, – говорит, – мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня малыньки. – А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом:

– Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу – беда будет. Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место, – как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан – батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.

– Ну, теперь признал меня, Степанушка? – спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит:

– Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

– Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

– Вот и ладно, – отвечает малахитница. – Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему и скажи да, смотри, не забудь слов-то: «Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».

Сказала это и прищурилась:

– Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему малынько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватила рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног – лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

– Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, – душному козлу, – с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!

Парень даже сплюнул в горячах:

– Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

А она видит, как он плюется, и хохочет.

– Ладно, – кричит, – потом поговорим. Может, и надумаешь?

И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова – дело не малое, а он еще, – и верно, – душной был – гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать – тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняя тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, насмелился:

– Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

– Видел я вчор Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

– Ты что это? Пьяный, али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

– Воля твоя, – говорит Степан, – а только так мне ведено.

– Выпороть его, – кричит приказчик, – да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что – драть нещадно!

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, – тоже собака не последняя, – отвел ему забой – хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, – крепость. Всяко гадились над человеком. Надзиратель еще и говорит:

– Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то, – и назначил вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать, а парень все ж таки проворный был. Глядит, – ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот, – думает, – хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

– Молодец, – говорит, – Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душеного козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерики набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

– Урок тут наломайте вдвое. И чтобы наотбор малахит был, шелкового сорту. – Потом Степану говорит: – Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет – все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней – на Хозяйке-то – меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

– Дальше, – говорит, – на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

И видит Степан огромную комнату, а в ней постеля, столы, табуреточки – все из королевской меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темнокрасный под чернетью, а на ем цветки медны.

– Посидим, – говорит, – тут, поговорим. Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

– Видал мое приданое?

– Видал, – говорит Степан.

– Ну, как теперь насчет женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан, да и говорит:

– Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

– Ты, – говорит, – друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? – И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

– Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она, вроде обрадовалась.

– Молодец, – говорит, – Степанушке. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку. – А у парня, верно, невесту-то Настей звали. – Вот, – говорит, – тебе подарочек для твоей невесты, – и подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

– Как же, – спрашивает парень, – я с эким местом наверх подымусь?

– Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить бедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ – обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящерики – полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

– Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне. – А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть. – На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь, – и подает ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

– Куда мне итти? – А сам тоже невеселый стал.

Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, – опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит – у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт-сорт. «Что, – думает, – за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все да и говорит:

– В эком-то забое всяк сколь хошь наломает. – И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того-у племянника-то, – скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

– Не иначе, – говорит, – Степан душу нечистой силе продал.

Приказчик на это и говорит:

– Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пуцай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.

Велел все ж таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал – на Красногорке работы прекратить.

– Кто, – говорит, – его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуна порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

– Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли – это уж как счастье мое подойдет.

Вскоро нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся, – вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурга. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.



– Вот что, – говорит, – даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажень долиной.

Степан отвечает:

– Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет – увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно, свое:

– Чуть было не забыл – невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок – сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит – парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

– На, – говорит, – только старайся, смотри.

А Степан все свое.

– Это уж как счастье поищет.

Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитаны столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба-та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городе, говорят. Как редкость ее берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали-она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали – глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

– Да ведь это медный изумруд! Редкостный – камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья – жена-то его – объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитовую. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться – горе, и доброму – радости мало.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Сказ впервые опубликован вместе с двумя другими: «Про Великого Полоза» и «Дорогое имячко» – в сборнике «Дореволюционный фольклор на Урале», Свердловское областное издательство, 1936. Эта сказы наиболее близки к уральскому горно-рабочему фольклору. Географически они связаны со старинным Сысертским горнозаводским округом, «в состав которого, – указывал П. Бажов, – входили пять заводов: Сысертский или Сысерт-главный завод округа, Полевской (он же Полевая или Полева) – самый старый завод округа, Северский (Северна), Верхний (Верх-Сысертский), Ильинский (Нижне-Сысертский). Вблизи Полевского завода было и знаменитейшее медное месторождение крепостной поры Урала – рудник Гумешки, иначе Медная гора, или просто Гора. С этими Гумешками, которые в течение столетия были жуткой подземной каторгой не одного поколения рабочих, связана большая часть сказов Полевского района» (П. Бажов, Предисловие к сказам, печатавшимся в журнале «Октябрь», № 5–6, 1939, стр. 158). О Хозяйке Медной горы, о Великом Полозе, о таинственном руднике Гумешки П. Бажов слышал рассказы и в собственной семье и у заводских стариков. Это были опытные рабочие, всю свою жизнь отдавшие горной промышленности. К старости, когда они уже «изробились», их из шахт и от медеплавильных печей переводили на более легкую работу (в сторожа, лесообъездчики и др.). Они-то и являлись рассказчиками преданий о старых заводах, о жизни горняков. Образ Хозяйки Медной горы или Малахитницы в горно-рабочем фольклоре имеет различные варианты: Горная матка, Каменная девка, Золотая баба, девка Азовка, Горный дух, Горный старец, Горный хозяин – (см. П. Л. Ермаков, Воспоминания горнорабочего, Свердловск, 1947; Л. Потапов. Культ гор на Алтае, журнал «Советская этнография», № 2, 1946: «Песни и сказы шахтеров», фольклор горняков Шахтинского района, Ростовское областное книгоиздательство, 1940; Н. Дыренкова, Шорский фольклор, М.-Л. 1940 А. Мисюрев, Легенды и были, фольклор старых горнорабочих Южной и Западной Сибири; – Новосибирск, 1940) – Все эти фольклорные персонажи являются – хранителями богатств горных недр. Образ Малахитницы – у П. Бажова значительно сложнее. Писатель воплотил в ней красоту природы, вдохновляющую человека на творческие искание. Образ Малахитницы из сказов П. Бажова широко вошел в советское искусство. Он воссоздан на сцене, в живописи и скульптуре. «Образы бажовских сказов – в росписях стен Дворца пионеров в г. Свердловске, Дома пионеров в г. Серове, в произведениях кустарной художественной промышленности, в игрушках для детей» (Вл. Бирюков, Певец Урала, газета «Красный курган», 1 февраля 1951 г.). Сказы Бажова воссозданы художниками-палешанами. «В большом белокаменном Дворце Пионеров г. Свердловска целые лабиринты комнат, и в каждой из них очень много интересного. Но в одну из комнат ребята входят с – радостным чувством ожидания чего-то особенного, чуть таинственного и прекрасного. Это – комната бажовских сказов. На высокой просторной стене разметала свои длинные косы девушка – Залотой Волос. Рядом зеленоглазая красавица в тяжелом малахитовом платье Медной горы Хозяйка. Танцует на стене озорная рыжая девчоночка – Огневушка-Поскакушка. Так разрисовали комнату мастера из Палеха» («Пионерская правда» 10 марта 1950 г.) Сказ «Медной горы Хозяйка» положил начало целой группе произведений, объединяемых образом Малахитницы. В эту группу, кроме указанного сказа, входят еще девять произведений, в том числе: «Приказчиковы подошвы» (1936), «Сочневы камешки» (1937), «Малахитовая шкатулка» (1938), «Каменный цветок» (1938), «Горный мастер» (1939), «Две ящерики» (1939), «Хрупкая веточка» (1940), «Травяная западенка» (1940), «Тяуткино зеркальце» (1941).

## Малахитовая шкатулка

У Настасьи, степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы ода-рила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и нешибко любительница была моды выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда-замается. Как закованный палец-то, в конце нали посинеет. Серьги навесит – хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять – не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

– Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

– Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

– Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-то, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть – все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смысленный, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

– Ладно, – говорит, – поберегу на черный день. – И поставила шкатулку на старо место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь-честью. Настасья – баба в соку да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:

– Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работающая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управлять! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

– Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто сто рублей дает, кто двести.

– Робят-де твоих жалею, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

– Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое нарнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

– Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала.

В кого только зародилась! Сама черненька да басенька, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

– Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зеленые – тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал. – Ну-ка ты, Памятка моя! – И когда случилось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала – далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей – Танюшка да Танюшка. Самые – завидующие бабешки, и те любовались. Ну, как, – красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала: – Красота-то-красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову – пушай де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, – с малых лет им лестно на себя-то навздывать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво – которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:

– Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, – да еще кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» – да поскорей шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

– Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце – пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

– Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе – сенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любит, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать кто-то навел его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в

избу этот хитник. Танюшка оглянулась – на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкиул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

– Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! – а сам глаза трет.

Танюшка видит – неладно с человеком, стала спрашивать:

– Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял? А тот, знай, стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела – зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

– Ой, не подходи! – Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход – выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет – проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

– Как солнцем ударило. Думал – вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка соседям не сказала. Те и думают: «Пустьшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает». До Настасьи все ж таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит – все в сохранности, вязаться не стала.

Ушел тот человек, и соседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шка-тулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто. А сама думает: «Оберегать-то ее все ж таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опажнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась – не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела – только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит – шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», – а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала. – По миру впору придет – тогда продам. Хоть круто ей приходилось, – а укрепились. Так еще сколько-то годов перемагались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали – откуда узоры берет, где шелка достает?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого роста, чернявая, в настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый баджок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

– Нельзя ли, хозяйюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а итти не близко.

Настасья сперва подумала, не подслана ли опять за шкатулкой, потом все ж таки пустила.

– Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротский. Утром – лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи, сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала. «Ишь неочесливая! Приветить ее не успели, а она на-ко – обутки сняла и котомку развязала».

Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

– Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-то на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

– Поглянулось знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь – выучу?

– Хочу, – говорит.

Настасья так и взъелась:

– И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ко, денег стоят.

– Про то не беспокойся, хозяйюшка, – говорит странница. – Будет понятие у доченьки – будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей – надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

– Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пуцай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»

А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

– Есть, – говорит, – у нас дорогая тятиня памятка – шкатулка малахитова. Вот где камешки! Век бы на них глядела.

– Мне покажешь, доченька? – спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно. – Покажу, – говорит, – когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:

– Надень ко на себя – виднее будет. Ну, Танюшка, – не того слова, – стала надевать, а та, знай, похваливает.

– Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет – тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное – нет. После этого женщина и говорит:

– Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

– Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка – перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими камешками, а платье на

ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойненько, будто так и надо. Народу в том помещение полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голо-руки, гологруды, камнями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежда на нем – уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать – заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет. Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:

– Ведь камения-то на ней тятины! – сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

– Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается – где это такое помещение?

– А это, – говорит, – царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена – твой покойный отец его добывал-то.

– А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

– Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит:

– Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.

С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратять можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:

– Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому службе эти слова, как собаке кипятком. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя:

– Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Таковую ли найдем!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет-хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит. Суседки уж стали Настасью корить:

– Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

– Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то да и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заработать.

Только тут беда их и пристигла – пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка – все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит.

– Видно, край пришел – придется продать шкатулку.

Сыновья в один голос:

– Продавай, мамонька. Не продешеви только...

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит – пушай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит.

– Продавать – так продавать, – И даже не стала на прощанье те камни глядеть.

И то сказать – у соседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так – продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-то подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то – ноготок, доцарапается! Видят, – робята подросли – больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-то такой – ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они – приказчики-то – подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареной Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, рассказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно – пороть. Свысока так, с растяжкой – па-роть. О какой недостатке ему заговорят, одно кричат: пароть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлестышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья: скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину сынову-то полюбовницу – за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.

– Чем, – говорит, – тебе так-то жить – на худой славе, выходи-ко ты замуж. Прида-ным тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пушай только



построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

– Давно, – говорит, – об этом мечтанье имела, да сказать – не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:

– Не желаю, – шибко про нее худа слава, потаскуха вроде...

Только барин – старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил – ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так – что зря говорить – человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил – из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная – одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта паротина жена и прослышала – шкатулку продают. «Дай-ко, – думает, – посмотрю, может, всамделе стоящее что».

Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!

– Ну-ко, – говорит, – милая, покажи, какие-такие камешки продаешь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У паротиной бабы и глаза забежали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, – думает, – такое? У самой царицы эдаких украшений нет, а тут на-ко – в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

– Сколько, – спрашивает, – просишь?

Настасья говорит:

– Две бы тысячи охота взять, Барыня порядилась для прилику, да и говорит:

– Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

– У нас, – говорит, – такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги – шкатулка твоя.

Барыня видит – вон какая женщина, – живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

– Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

– Это будь в надежде. От своего слова не отопрись. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

– Ну, как?

– Запродала, – отвечает Настасья.

– За сколь?

– За две, как назначила.

– Что ты, – кричат, – ума решилась али что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь! – И давай-ко цену набавлять.

Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

– Это, – говорит, – вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!

Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-

то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит – барыня какая-то, и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка – дескать, не та ведь, какую тогда видела. А паротина жена пуще того воззрилась.

– Что за наваждение? Чья такая? – спрашивает.

– Дочерью люди зовут, – отвечает Настасья. – Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает – как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало – то пропало!

– Напрасно, милая, так думаешь, – говорит паротина баба. – Найду я местечко этим камням. – А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо – мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

– Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что – до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новопкупку все ж таки охота. Ну, как – женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. – Ой, ой, что такое! – Терпенья нет – крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А нейметя. Серьги надела – чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула – заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить! А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

Сказано – сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, – и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже:

– Не возьмусь, – говорит, – что хошь давай. – Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

– Знаю, – говорит, – в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела – неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили-старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила – взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что – жену отби-

рают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастан:

– Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

– Чья такая? В котором месте живет?

Ну, ему рассказали, и про шкатулку помянули в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала. Паротя и говорит:

– Поглядеть бы, – а у запивох и заделье нашлось.

– Хоть сейчас пойдем – освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами.

Подыскиваются, одним словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит – помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:

– Что подельваете?

Танюшка говорит:

– По заказу шью, – и работу свою показала.

– Мне, – говорит Паротя, – можно заказ сделать?

– Отчего же нет, коли в цене сойдемся.

– Можете, – спрашивает опять Паротя, – мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает – бери-де заказ! – и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

– Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих камнях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоять такая работа.

– Об этом, – говорит, – не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

– В лице, – отвечает, – сходственность будет, а одежда другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила – через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то паротины подсмеиваться над ним стали:

– Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь! Ну, вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя – фу ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одеждой да камнями изукрашенная! Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

– Не привышны, – говорит, – мы подарки-то принимать. Трудами кормимся.

Прибежал Паротя домой, любитесь на патрет, а от жены впопых держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили – помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и нивесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет – последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых заливчатых питухов поставил – накачивай-де доотказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чувствует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

– Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! – Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже вьелся глазами-то. Любопытно ему стало.

– Кто такая? – спрашивает.

Паротя, знай, похохатывает:

– Полон стол золота насыпь – и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются – барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

– Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще камения дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз, мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:

– Страмина ты, страмина! Что ты косоцветки плетешь, барину в глаза песком бросаешь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья лгать не буду – не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камия у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

Барин как услышал про камия, так сейчас же:

– Ну-ко, покажи!

Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Одним словом, наследник. К камиям-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, – как говорится, ни росту, ни голосу, – так хоть камиями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камиях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит – делать нечего, – принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

– Сколько?

Та и бухнула вовсе неслышанно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит:

– Позовите-ко эту девку, про которую разговор. Сбежали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, – думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка – отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

– Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор.

– Ваши камия?

– Были наши, теперь вон ихние, – и показала на паротину жену.

– Мои теперь, – похвалился барин.

– Это дело ваше.

– А хошь, подарю обратно?

– Отдаривать нечем.

– Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камия на человеке придутся.

– Это, – отвечает Танюшка, – можно. Взяла шкатулку, разобрала уборы, – привычно дело, – и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает.

Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

– Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять – работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

– Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась:

– Не под стать бы ровно барину такое говорить. – Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

– Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему – будто не подходит. Танюшка слушала-слушала, да и молвит:

– Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь – тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербургх стал собираться и Танюшку с собой зовет – лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:

– По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье исполнишь.

– Когда же, – спрашивает, – ты в Сам-Петербургхе будешь?

– К Покрову, – говорит, – непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербургх-то приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовались невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала, – тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине.

Барин, конечно, сейчас же туда:

– Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

– Мне и тут хорошо.

Слух про камень да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:

– Пушай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.

Барин к Танюшке, – дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

– О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает, – откуда у ней лошади? где платье дворцовское? – а спрашивать все ж таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится – невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть, – тут же остановились. А Танюшка надела камень, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку.

Ну, народ – откуда такая? – валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пушают – не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят – платье-то! У царицы такого нет! – сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

– Чья такая? Каких земель царица?

А барин Турчанинов тут как тут.

– Моя невеста, – говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела:

– Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул – у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда, – оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было ведено. Глядит Танюшка – не то место. Еще строже спросила Турчанинова-барина:

– Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана!

И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

– Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит – никого нет. Царицыны наушницы и доводят – турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, – что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит – не шевельнется.

Царица и кричит:

– Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу – турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

– Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула.

Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

– Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место – дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит-на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань, вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

– Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался – никому не известно.

Не поживилась и паротина жена; поди-ко, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было. Погоревала, конечно, Настасья, да то же не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетьница для семьи была, а все Настасье как чужая.

И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся – за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!

Холостяжник – тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет в помянут:

– Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Впервые опубликован в 1938 г. (газета «На смену», г. Свердловск, с 18 сентября – до 14 ноября 1938 г. и альманах «Уральский современник», г. Свердловск, кн. 1-я, 1938). Первоначально сказ назывался «Тягино подаренье», при подготовке к печати автор заменил это заглавие другим – «Малахитовая шкатулка». Замена оказалась удачной, название стало общим для всей книги сказов, отмеченной в 1943 г. Сталинской премией второй степени. В передовой газеты «Правда» («Лауреаты сталинских премий», 20 марта 1943 г.) говорится: «Родина дорога нам и бескрайними голубеющим просторами своими, и широкими реками, и горами, и народами своими, их говором, их сказами и преданиями. Народу нашему полюбился старый уральский сказочник П. Бажов. Его «Малахитовая шкатулка» содержит в себе самоцветы народной поэзии». Книга «Малахитовая шкатулка» неоднократно переиздавалась. Первое издание вышло в г. Свердловске, в 1939 г. Сталинская премия была присуждена автору за второе издание книги, вышедшее в московском издательстве «Советский писатель» в 1942 г. Третье издание – выпустил Гослитиздат в 1944 г.; четвертое – Свердловгиз, 1944 г.; пятое издание вышло в Москве в издательстве «Советский писатель» в 1947 г.; шестое – выпустил Гослитиздат, М. 1948 г.; седьмое – Свердловгиз, 1949 г.; восьмое – последнее прижизненное издание, в составлении которого принимал участие автор, – выпущено Лениздатом в 1950 г. В 1944 г. книга была выпущена в Англии. В этой связи П. Бажов интересовался характером перевода и издания. Он писал: «Ведь и для автора, и для сказов, которые, как вам известно, партийно направлены, далеко не безразлично, кто будет издавать... Когда переводят свои, там может быть порой и смешное в подыскании адекватных выражений, но есть полная уверенность, что извращений основной мысли не будет, а ведь в частном издательстве могут и вверх ногами поставить, а то выделить одну мишуру». (Из архива П. Баждова. Письмо от 25 февраля 1945 г.) Из зарубежных изданий «Малахитовой шкатулки» можно еще назвать – «Steinblomsten», Falken forlag, Oslo (Норвегия), 1946 г., «La Fleur de pierre», Editions du Bateau Ivre (Франция), 1947 г.; книга вышла и в славянских странах, в частности в Чехословакии (1946). Отдельные сказы опубликованы на китайском языке – журнал «Литература и искусство», Шанхай, № 25. 1946.

## Каменный цветок

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, скажут, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом возгались, как его было довольно, и сорт – выше нет. Вот из этого малахиту и выделявали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопичу парнишек на выучку.

– Пущай-де переймут все до тонкости.

Только Прокопич, – то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, – учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

– Не гош этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было улаживать Прокопича.

– Не гош, так не гош... Другого дадим... – И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, – выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то, сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все ж таки помнит баринов наказ – ставит Прокопичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

– Не гош этот...

Приказчик взъедаться стал:

– До какой поры это будет? Не гош да не гош, когда гош будет? Учи этого...

Прокопич знай свое:

– Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

– Какого тебе еще?

– Мне хоть и вовсе не ставь, – об этом не сучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове – как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопич их прогнал.

Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой – расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки.

Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах выюнами выются. Чуть что – навытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшение, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, по началу-то, потом рукой махнули:

– Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали – шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гош пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у, него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то – вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:

– Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?



– Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконый... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет.

– Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она – и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился-куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

– Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет-наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит.

Шибко за те песенки стали женщины привечать Данидушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, – каждая норovit дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят – той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчиного двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва, старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже:

– Экой-то, – говорит, – с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все ж таки – не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь – молчит, втретий – молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

– Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь...

Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слышали. Приказчик, – он тут же, конечно, был, – удивился:

– Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется. Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав да корешков, да цветков всяких у ней засушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен – как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

– Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

– Хвастаться, – говорит, – не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

– А разве, – спрашивает, – еще не открытые бывают?

– Есть, – отвечает, – и такие. Папору вот слышал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок – бегучий огонек. Поймай его – и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще

каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

– Чем, бабушка, несчастный?

– А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиков вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:

– Иди-ко теперь к Прокопичу – малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает. Прокопич поглядел на него, да и говорит:

– Еще такого не доставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь – еле живой стоит.

Пошел Прокопич к приказчику:

– Не надо такого. Еще ненароком убьешь – отвечать придется.

Только приказчик – куда тебе, слушать не стал:

– Дано тебе-учи, не рассуждай! Он – этот парнишка – крепкий. Не гляди, что жиденький.

– Ну, дело ваше, – говорит Прокопич, – было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

– Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, – отвечает приказчик.

Пришел Прокопич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан – кромку отбить. Вот Данилушко на это место устоялся и головенкой покачивает. Прокопичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

– Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

– На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопич закричал, конечно:

– Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

– То и понимаю, что эту штуку испортили, – отвечает Данилушко.

– Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне – первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопич-то, вишь, сам над этой досочкой думал – с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопич и говорит вовсе уж добром:

– Ну-ко, ты, мастер явленный, покажи, как, по-твоему, сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

– Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше-пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопич, знай, покрикивает:

– Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил – не просыпь! – А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок-он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

– Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут. Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское – про то не знаю. Рассказал, как он

в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Прокопъич пожалел:

– Не сладко, гляжу, тебе, парень, житишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

– Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то – не руками, – всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопъич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопъич сам управлял, что ему надо. Поели, Прокопъич и говорит:

– Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, – вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, – все ж таки вскорости уснул. Прокопъич тоже лег, а уснуть не может: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку – давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

– Вот тебе и Недокормышек! – дивится Прокопъич. – Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну, и глазок! Ну, и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

– Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом – то-тепло ему стало, – и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопъича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу.

Стоит мастер, любуется, а Данилушко, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопъича забота – как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

– С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, – живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

– Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, – в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь – то и ладно. Хлеба возьми полишку, – естся в лесу-то, – да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

– Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопъич говорит:

– Ладно, да не все. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопъич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить – пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да и спит покрепче. Шубу ему Прокопъич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали.

Прокопъич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопъичу тоже прильнул. Ну, как! – понял прокопъичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопъичу расскажет, да и спрашивает – это что да это как? Прокопъич объяснит, на деле покажет.

Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я...» – Прокопъич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

– Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу. По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

– Ну-ко, – говорит, – тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

– Ты чей? Данилушко и отвечает:

– В ученье, дескать у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хватъ его за ухо:

– Так-то ты, стервец, учишься! – Да за ухо и повел к Прокопъичу.

Тот видит – неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

– Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

– Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит – у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево.

Однем словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопъичу:

– Этот, видно, го́ж тебе пришелся?

– Не жалуюсь, – отвечает Прокопъич.

– То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу – до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопъич дивуется:

– Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

– Сам же, – говорит Данилушко, – показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопъича даже слезы закапали, – до того ему это по сердцу пришлось.

– Сыночек, – говорит, – милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшения разные.

Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь – у малахитчиков – дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье – змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу – Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьяча, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьяч тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьяч пойдет, да и говорит:

– Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится – только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже большой потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьяч ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

– Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Одним словом, сухота девичья. Прокопьяч уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой, потряхивает:

– Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот прокопьячев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу – на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьяч тому Данилке не пособлял. Не доглядишь – с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

– Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьяч узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только: «Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на новое место, а Прокопьяч ему наказывает:

– Ты, гяяди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай – не делай, а срок отбывай – сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

– Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

– Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьячем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, – то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердят был, – все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьяча брать – может-де вдвоем-то скорее придумают что новенькое.

При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним

словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушко к Прокопичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, – пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает – хорошо идет дело. Одно ему не по нраву – трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопичу, а он только удивился:

– Тебе-то что? Придумали – значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они – толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

– Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, – не выдумают ли вдвоем-то чего новенького, – и говорит:

– Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь – твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо – такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано – чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать – не одну ночку с боку на бок повертись. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопич заметил, спрашивает:

– Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

– И то, – говорит Данилушко, – в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановился где на покосе, либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку – не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

– Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

– Неладно с парнем.

А он придет домой и сразу к станку да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листики да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеда: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

– Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопич давай отговаривать:

– На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пушай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор – сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать – только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

– Не для барина, – говорит, – стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

– Лента каменная с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопичу сказал:

– По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопичу:

– Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

Прокопич отвечает:

– Ладно, мешать не стану, – а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много – в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопич и стал про женитьбу заговаривать:

– Вот хоть бы Катя Летемина – чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

– погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди – молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя – невеста-то – с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

– Как, – говорит, – только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

– В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь – пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

– То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него – сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

– А где оплошал, – смеются мастера, – там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

– Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не раз говорил:

– Камень – камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое – точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех – других-то мастеров – учил. Все его дедушкой звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

– Ты, милый сын, по этой половине не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

– Какие мастера, дедушко?

– А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они и делают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, – какую поделку видел.

– Да змейку, – говорит, – ту же, какую вы на зарукавье точите.

– Ну, и что? Какая она?

– От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает – не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди – клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

– Не знаю, милый сын. Слышал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

– Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

– Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? – да в слезы. Прокопъич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера насмех подымать:

– Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

– Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

– Хлебнул, дедушко, лишка! А он свое:

– Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман – цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопъич уж понуждать стал:

– Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди – пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?

Данилушко одно свое:

– погоди ты маленько! Вот только – придумаю – да камень подходящий подберу.

И повадился он на медный рудник – на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

– Нет, не тот...

Только это промолвил, кто-то и говорит:

– В другом месте поищи... у Змеиной горки.

Глядит Данилушко, – никого нет.

Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

– Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко, – женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, – думает, – за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали. Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.



Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень – на руках не унести – и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все, как есть... Обрадовался Данилушко, скорее за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопичу:

– Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопич помалкивает. Может, уgomонится парень, как охотку шестит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки – все пришлось лучше нельзя. Прокопич и то говорит – живой цветок-то хоть рукой пощупать. Ну, а как доверху дошел – тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки – как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял.

Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, – чего еще парню надо? Чаша вышла – никто такой не дельвал, а ему неладно. Умется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, – поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

– Ладно, – говорит, – больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. – И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит – вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

– Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиногo праздника свадьба прищлась. К слову, кто-то и помянул про это – вот-де скоро змеи все в одно место соберутся.

Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» – и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорошивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, – думает, – отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит – у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!»

Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит – молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

– Ну, что Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

– Не вышла, – отвечает.

– А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

– Нет, – отвечает, – не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

– Показать-то, – говорит, – просто, да потом жалеть будешь.

– Не отпустишь из горы?

– Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

– Покажи, сделай милость! Она еще его уговаривала:

– Может, еще попытаешь сам добиться! – Про Прокопьяча тоже помянула: – Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. – Про невесту напомнила: – Души в тебе девка не чаёт, а ты на сторону глядишь.

– Знаю я, – кричит Данилушко, – а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

– Когда так, – говорит, – пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

– Ну, Данило-мастер, поглядел? – спрашивает Хозяйка.

– Не найдешь, – отвечает Данилушко, – камня, чтобы так-то сделать.

– Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. – Сказала и рукой махнула.

Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал – песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

– Что с тобой? Ровно на похоронах ты! А он и говорит:

– Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

– Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, – не лучше ли ему станет». А подружкам что... Рады-радехоньки.

– И то, – кричат, – проводить надо. Шибко он близко живет – провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит – вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще такое причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька не старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться – кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.

Прокопьяч давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьяча кашлем бить стало. Так и надры-

вается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопич прокашлялся, спрашивает:

– Ты что это с чашами-то?

– Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

– Давно, – говорит, – пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, – только схрупало. А ту чашу, – по барскому-то чертежу, – не пошевелил! Плонул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал – Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Впервые опубликован в 1938 г. («Литературная газета» 10 мая 1938 г.; «Уральский современник», кн. 1). К этому сказу примыкают два других: «Горный мастер», повествующий о невесте главного героя первого сказа – Катерине, и «Хрупкая веточка» – о сыне Катерины и Данилы-камнереза. П. Бажов задумал четвертый сказ, завершающий историю этой семьи камнерезов. Писатель говорил: «Собираюсь закончить сказ о «Каменном цветке». Мне хочется показать в нем преемников его героя, Данилы, написать об их замечательном мастерстве, устремлении в будущее. Действие сказа думаю довести до наших дней» («Вечерняя Москва», 31 января 1948 г. Беседа П. Бажова с корреспондентом газеты). Замысел этот остался неосуществленным. Сказ «Каменный цветок» был экранизирован в 1946 г. В основу сценария П. Бажовым положены сюжеты двух сказов – «Каменный цветок» и «Горный мастер». В 1951 г. на сцене театра К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко была поставлена опера молодого композитора К. Молчанова «Каменный цветок».

## Горный мастер

Катя, – данилова-то невеста, – незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, – она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожа была, к ней все женихи лезут, а у ней только и слов:

– Данилу обещалась.

Ее уговаривают:

– Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит:

– Данилу обещалась. Может, и придет еще он.

Ей толкуют:

– Нет его в живых. Верное дело.

А она уперлась на своем:

– Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.

Видят – не а себе девка, – отстали. Иные насмех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозвания не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла – кому на отцовском месте оставаться. Катя видит, – бестолковщина пошла, и говорит:

– Пойду-ко я в данилушкову избу жить. Вовсе Прокопич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сестры уговаривать, конечно:

– Не подходит это, сестра. Прокопич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

– Мне-то, – отвечает, – что? Не я сплетницей стану. Прокопич, поди-ко, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи – шуму меньше. А Прокопич что? Ему это по душе пришлось.

– Спасибо, – говорит, – Катенька, что про меня вспомнила.

Вот и стали они поживать. Прокопич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегаёт – в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то... Катя – девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопичу:

– Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопичу даже смешно стало.

– Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхивал.

Ну, она все ж таки присматриваться к прокопичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопич и стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае.

Прокопич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:

– Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь? Катя их обреза:

– Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в городе и придет.

Братья-сестры руками на нее машут:

– В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить станет.

– Не боюсь, – отвечает, – этого. Тогда родные спрашивают:

– Чем ты хоть жить-то станешь?

– Об этом, – отвечает, – тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сестры так поняли, что от Прокопья деньжонки остались, и опять за свое:

– Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика, беспрременно, в доме надо. Неровен час, – поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.

– Сколько, – отвечает, – на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

– Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

Осердились, конечно, родные:

– В случае, к нам и глаз не показывай!

– Спасибо, – отвечает, – братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте – мимо похаживайте!

Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп. Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

– Врешь! Не поддамся!

Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить – чистоту наводить. Управилась – и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок заводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться.

«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватились, а камня подходящего нет. Обломки данилушковой дурман-чаши остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопья камня, конечно, много было. Только Прокопич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались – порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:

«Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».

От Данилы да и от Прокопья она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то – куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку да тут и села. Горько ей стало – Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, – она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют.

Поплакала, глядит – у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все ж таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло

снизу, – ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась:

– Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, все про Данилушку вспомнит:

– Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да прокопьевом месте сидит!

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду.

Попугать хотели али и еще что – их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:

– Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

– Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди – сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:

– Заходи, нето. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

– Ты, – говорят, – без шуток!

– Какие, – отвечает, – шулки! Кто за порог, того и по лбу.

Парии, хоть пьяные, а видят – дело не шуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

– Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили – не поверили, а по народу с той поры пошло:

«Нечисто в этом доме. Недаром, она одна-одинешенька живет.»

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пуцай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. Насмех ее подняли:

– За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала:

«Выйдет ли у меня у одной-то?» Ну, все ж таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было... Неуж и того не осилю?» Распилила Катя камешок. Видит – узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только то и в брос, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопич такую мелочь в город, случались, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.

«Спрошу там, будут ли напредки мою поделку принимать».

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопича поделку принимал, и заявила прямо в лавку. Глядит – полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкаф за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой.

Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:

– Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкаф указал:

– Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

– Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:

– Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.

Хозяин тогда и говорит:

– Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:

– У кого украла?

Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:

– Какое твое право, не зная человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! – и высыпала на прилавок всю свою поделку.

Хозяин и мастера видят – верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.

– Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо. – А сам Кате говорит: – Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

– Почем сдаешь?

Катя слыхала от Прокопья цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

– Что ты! Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопичу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!

– Я, – отвечает, – от них и слыхала. Из той же семьи буду.

– Вон что! – удивился хозяин. – Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?

– Нет, – отвечает, – моя.

– Камень, может, от него остался?

– И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:

– Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.

Ушла Катя, радуется, – сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

– Сколько?

Он, конечно, не ошибся, – в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

– Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама все дивится.

– Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел. – Потом и хватилась: – А не Данилушко ли это мне весточку подал?

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:

– Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопич либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит, – Гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает:

«Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду, – версты, поди, за две от Гумешек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:

– На кого ты меня! мил сердечный друг, покинул, – и протча тако...

Наревелась, будто полегче стало, стоит – задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошел. Время на закате. По низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место – к руднику солнышко пришло. Так и горит это место, и все камешки на нем блестя.

Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит – земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:

«Вот она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала и видит через прогалы – идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать то хочет. Катя свету не взвндела, так и кинулась к нему... с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, еде стояла. Образумилась, да и говорит себе:

– Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой итти.

Итти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все ж таки Данилушку». Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел – избушка у Кати заперта. Он и притаился, – посмотрю, что она притащила. Видит – идет Катя, он и встал поперек дороги:

– Ты куда это ходила?

– На Змеиную, – отвечает.

– Ночью-то? Что там делать?

– Данилу повидать...

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шопотки поползли:

– Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла с малого-то ума.

Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

– Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?

Братья слышали про ее-то удачу и говорят:

– Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.



– Таких, – отвечает, – случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел. Братья смеются, сестры руками машут:

– И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились:

– Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет – сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:

– Коли такой же издастся, значит, не поблазняло мне – видала я Данилушку.

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:

– И сон ее не берет! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку – узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит.

Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватила, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям – бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят, – Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался – посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пошупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает:

«Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

– Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: – Там не видно?

А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила, да и закричала:

– Данило, отзовись!

По лесу голк пошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась:

– Данило, отзовись!

По лесу опять: «Нет его! Нет его! Нет его!»

Катя снова:

– Данило, отзовись!

Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.

– Ты зачем, – спрашивает, – в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

– Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать!

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

– Еще что скажешь?

– А то и скажу – подавай Данилу! У тебя он...

Хозяйка расхохоталась, да и говорит:

– Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

– Не слепая, – кричит, – вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

– А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что вея бы не нагляделся. И видит Катя: бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась:

– Данилушко!

– Подожди, – говорит Хозяйка, – и спрашивает: – Ну, Данило-мастер, выбирай – как быть? С ней пойдешь – все мое забудешь, здесь останешься – ее и людей забыть надо.

– Не могу, – отвечает, – людей забыть, а ее каждую минуту помню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

– Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удасть да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! – И полянка с диковинными цветами сразу потухла.

– Теперь ступайте в ту сторону, – указала Хозяйка да еще упредила. – Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.

Поклонилась тут Катя:

– Прости на худом слове!

– Ладно, – отвечает, – что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошла Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, и под ногами неровно – бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике – на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой.

А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются: – Там не видно?

Искали-искали, не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит. Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят – трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.

«Не станет же, – думают, – мертвяк трубку курить».

Подходить стали один по одному. Глядят – и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:

– Где это тебя, Данило, давно не видно?

– В Колывань, – отвечает, – ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тянька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал – тайком ушел, Кате вон только сказался.

– Пошто, – спрашивают, – чашу свою разбил?

Данило притуманился маленько, как о чаше помянули, потом говорит:

– Ну, мало ли... С вечорки пришел... Может, выпил лишка... Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить.

Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:

– Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ко лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то.

На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И недостаток у них появился. Только нет-нет – и задумается Данило. Катя понимала, конечно, – о чем, да помалкивала.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Впервые опубликован в 1939 г. (газета «На смену», г. Свердловск, № 7-10, 12, 13 за 1939 г.; журнал «Октябрь», № 5–6, 1939 г., а также первое издание книги «Малахитовая шкатулка», Свердловское областное издательство, 1939 г.).

## Хрупкая веточка

У Данилы с Катей, – это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила, – ребятишек многолько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. Мать-то не раз ревливала хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец, знай, похохатывает:

– Такое, видно, наше с тобой положение. Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться. Другие ребятишки, – я так замечал, – злые выходят при таком-то случае, а этот ничего – веселенький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его да спрашивали:

– Ты, Митя как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это?

Отец с матерью, и те частенько покрикивали:

– Митюшка! Погляди-ко! Ладно, на твой глаз?

– Митяйко, – не приметил, куда я воробы поставила?

И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.

Данило по своему мастерству все-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимешки там, шубейки и протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно: своя кожа, не куплена. А Митюньке, как он всех жальчее, и сапожнешки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:

– Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди – ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлось.

Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее митины сапожнешки себе пристроить. Так у них все гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо:

– Что это у Катерины за робята! Никогда у них и драчишки меж собой не случится.

А это все Митюнька – главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу: кого разве-селит, кого обогреет, кого на думки наведет.

К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.

– Пускай, – говорит, – подрастут сперва. Успеют еще малахитовой-то пыли наглотаться.

Катя тоже с мужем в полном согласье – рано еще за ремесло садить. Да еще придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы помудренному учили, а он с лету берет. Не успеет мастерица показать, – он обмозговал. Братья еще склады толмили, а он уж читал, знай, слова лови. Мастерица не раз говаривала:

– Не бывало у меня такого выученика.

Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.

В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сам-Петербурге, вот и приехал на завод – не выскребу ли, дескать, еще сколь-нибудь.

При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.

Едет это он по улице и углядел – у одной избы трое робятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то: – идите сюда.

Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видать, а признал, небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком и седок гора-горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником.

Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске, а барин хрипит:

– Чьи такие?

Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:

– Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.

Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:

– Ох, ох! что делают! что делают! Ох, ох!

Потом, видно, провздохался и заревел медведем:

– Это что? А? – А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испугались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чем его барин спрашивает.

Тот заладил свое, недоладом орет:

– Это что?

Митюнька вовсе оробел, да и говорит:

– Земля.

Барина тут как параличомхватило, захрипел вовсе:

– Хр-р, хр-р! До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р.

Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею – поезжай!

Этот барин не твердого ума был. Смолodu за ним такое замечалось, к старости и вовсе несамостоятельной стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали – может, обойдется дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел.

– Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:

– Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать с него – тоже указано, а как платит он исправно, я и думал...

– А ты, – кричит, – не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить.

Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит – вовсе несурязица и говорит:

– Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.

Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка, – не до каменной поделки. В пору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько все-таки ни отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь – в гору. Вот куда загнuлось!

Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Все прижало, а робятам хуже всего: до возрасту за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька – тот виноватее всех себя считал – сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять свое думают:

– И так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит – вовсе изведется. Потому – кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить – пыли не продохнешь, щебенку колотить – глаза береги, а олово крепкой водкой на полер разводить – парами задушит.

Думали, думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться. Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие и силы большой не надо – самая по нему работа.

Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радехонек, потому знал – парнишечко смысленый и к работе не ленив. Гранильщик этот так себе средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Все-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Данилу:

– Надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдет до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.

Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашел кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и протча. И на все установ имелся. Черну, скажем, смородину из агату делали, белу – из дурмашков, клубнику – из сургучной яшмы, княженику – из мелких шерловых шаричков клеили. Одним словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там еще из какого-нибудь камня.

Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

– Пожалуй, так-то живее выходит.

Напоследок прямо объявил.

– Гляжу я, парень, шибко большое твое дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал да еще с выдумкой.

Потом помолчал маленько, да и наказывает:

– Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за нее руки не отбили. Бывали такие случаи.

Митюнька, известно, молодой – безо внимания к этому. Еще посмеивается:

– Была бы выдумка хорошая. Кто за нее руки отбивать станет?

Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой: только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет, – один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:

– Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалекая, и груз не велик – материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришел. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная, девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье нет. Данило уж вовсе стариком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, бьются, а все в барский оброк уходит. Митюха тут и заподумывал: все, дескать, из-за тех сапожнешек вышло. Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, инструментишко тоже требуется. Мелочь все, а место и ей надо.

Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает:

– Как бы добиться, чтоб из здешнего камня ягоды точить. Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить. – Думает, думает, а пути не видит. В наших краях, известно, хризолит да малахит больше попадают. Хризолит тоже дешево не добудешь, да и не подходит он, а малахит только на листочки и то не вовсе годится: оправки либо подклейки требует.

Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему времени открыто.

В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоешь и на разговор не тянет.

Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам все о том же думает: – Из какого бы вовсе дешевого здешнего камня такую же поделку гнать?

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука, – с кольцом на пальце и в зарукавье, – и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная.

Кинулся Митюха к окошку – нет никого, улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал.

Что такое? Шутки кто шутит али наваждение какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости: такого материала возами вози, а сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только?

Стал тут смекать, какая ягода больше подойдет, а сам на то место устоялся, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок репейный листок, а на нем три годных веточки, черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел все – никого, как вымерло. Время – самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?

Постоял-постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво – откуда вишня взялась. С черемухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана?

Полюбовался так на вишни, а все-таки крыжовник ему милее пришелся и к матерьялу ровно больше подходит. Только подумал – рука-то его по плечу и погладила: «Молодец, дескать! Понимаешь дело!»

Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слышал про Хозяйку горы. Вот он и подумал – хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой – не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутри-то выемки наладил да еще, где надо желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеевки выточил, а на корешок ухитрился колючки тонехонькие пристроить. Одним словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки видно и листочки живые, даже маленько с изъятиями: на одном, дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки прилились. Ну, как есть настоящие.

Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню срабатывала. Все налюбоваться не могут на митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну, как – работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову митюхину работу выхватывал, потому – на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду. И черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал – себе оставил. Посыкался отдать девчонке одной, да все сумленье брало.

Девчонки, видишь, не отворачивались от митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой: шариков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось

перед окошком – зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да все боялся.

– Еще насмех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет.

А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, все еще на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли купца и придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлестов с наказом:

– Если отдавать не будет, отберите силой.

Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик ее в бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полеву, приказчик сейчас:

– Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка. Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:

– Из каких камней делано и сколько камни стоят?

Приказчик и отвечает:

– То и удивительно, что из самого простого материала: из змеевику да шлаку.

Тут барин сразу задохся:

– Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?

Приказчик видит – неладно выходит, на мастера все поворотил:

– Это он, шельмец, мне подсунул, да еще насажал четвергов с неделю, а то бы я разве посмел.

Барин, знай, хрипит:

– Мастера тщи! Тщи мастера!

Приволокли понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин.

«Это тот... в сапогах-то который...» С палкой на Митюху кинулся.

– Как ты смел?

Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:

– Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.

Только с барином какой разговор, все свое хрипит:

– Я тебе покажу...

Потом схватил со стола веточку, хлоп ее на пол и давай-ко топтать. В пыль, понятно, раздавил.

Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать, – кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят.

Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу. Так барин на пол и сел и глаза выкатил.

И вот диво – в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели, – Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, – а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали ее.

И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед митюхиным окошком, тоже потерялась, и тоже с концом.

Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по-своему-то, что ее найти легче, потому – далеко женщина от своих мест уходить не привычна. На родителей ее наступали:

– Указывай место!

А толку все-таки не добились.

Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели, – отступили. А барин еще сколько-то задышался, все-таки вскорости его жиром задавило.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Сказ впервые напечатан в газете «Уральский рабочий». 22 сентября 1940 г.



## Железковы покрышки

Дело это было вскорости после пятого году. Перед тем как войне с немцами начаться.

В те годы у мастеров по каменному делу заминка случилась. Особо у малахитчиков. С материалом, вядишь, вовсе туго стало. Гумешевский рудник, где самолучший малахит добывался, в полном забросе стоял, и отвалы там не по одному разу перебраны были. На Тагильском медном, случалось, находили кусочки, да тоже нечасто. Кому надо, охотились за этими кусочками все едино, как за дорогим зверем. В городе по такому случаю заграничную контору держали, чтоб такую редкость скупать. А контора, понятно, не для здешних мастеров старалась. Так и выходило: что найдут, то и уплывет за границу.

Ну, может, и то сказалось, что мода на малахит прошла. Это в каменном деле тоже бывает: над каким камнем деда всю жизнь стараются, на тот при внуках никто глядеть не хочет. Только для церквей и разных дворцовских украшений больше орлец да яшму спрашивали, а в лавках по каменным поделкам вовсе дешевой торговали. Так пустой камешок на немецкий лад гнали: было бы пестренько да оправа с высокой пробой. Прямо сказать, доброму мастеру никакой утехы. Кончил поделку, покурил да сплюнул и принимайся за другую. Одно слово, пустяковина, базарский товар. Глядеть тошно, кто в том деле понимает.

Ну, все-таки старики, коих смолodu малахитовым узором ушибло, своего дела не бросали. Исхитрялись как-то: и камешок добывали и покупателя с понятием находили.

Один такой в нашем заводе жил, Евлахой Железком его звали. Еще слух шел, что этот Евлаха свою потайную ямку с малахитом имел. Правда ли это, сказать не берусь, а только и про такой случай рассказывали.

Вот будто подошел какой-то большой царицын праздник. Не просто именины али родины, а, сказать по-теперешнему, вроде как юбилей. Ну, может, седьмую дочь родила или еще что. Не в этом дело, а только придумали на семейном царском совете сделать царице по этому случаю подарок позанятнее.

У царей, известно, положение было: про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить – один поставщик волокет, закусить придумал – другой поставщик старается. По подарочным делам у них был француз Фабержей. (Фаберже – прим. скан.) В своем деле понимающий. Большую фабрику по драгоценным и узорным камням содержал, на обе столицы широкую торговлю вел, и мастера у него были первостатейные.

Призывает этого Фабержея царь и говорит: так и так, надо царице к такому-то дню приготовить дорогой подарок, чтоб всем на удивление. Фабержей, понятно, кланяется да приговаривает: «будет сготовлено», а сам думает: «вот так загвоздка!».

Он, конечно, до тонкости понимал, кому чем угодить, только тут дело вышло не простое. Брильянтами да изумрудами и другими дорогими камнями царицу не удивишь, коли у ней таких камней полнехонек сундук набит, и камни самого высокого сорту. Тонкой гранью либо узором тоже не проймешь, потому – люди без понятия. И то француз было ведомо, что царица после пятого году камень с краснинкой видеть не могла. То ли ей тут красные флаги мерещились, то ли чем другим память бередило. Ну, может, те картинки вспоминала, какие на тайных листах печатали, как она с царем кровавыми руками по земле шарила.

Не знаю это, да и разбирать не к чему, а только с пятого году к царице с красным камнем и не подходи – во всю голову завизжит, все русские слова потеряет и по-немецки заругается. А дальше известно, опросы да допросы, с каким умыслом царице такой камень показывали, какие советчики да пособники были? Тоже кому охота в такое дело вляпаться!

Француз этот Фабержей и маялся, придумывал, чем царицу удивить, и чтоб красненького в подарок и звания не было. Думал-думал, пошел со своими мастерами посоветоваться. Обсказал начистоту и спрашивает:

– Как располагаете?

Мастера, понятно, всяк от своего, по-разному судят, а один старик и говорит:

– На мое понятие, тут больше малахит подходит. Радостный камень и широкой силы: самому вислоносому дураку покажи, и тому весело станет.

Хозяин, конечно, оговорил старика: не к чему, дескать, о вислоносых дураках поминать, коли разговор идет о царском подарке, за это и подтянуть могут, а насчет камня согласился:

– Верно говоришь. Малахит, пожалуй, к такому случаю подойдет.

Другие мастера сомневаются:

– Не найдешь по нынешним временам доброго камня. Ну, хозяин на деньги обнадежился.

– Коли, говорит, в цене не постоять, так любой камешок достать можно. На этом и сговорились: будем делать альбом для царской семьи с малахитовыми крышками. И украшения, какие полагаются, тут же придумали.

Сказано-сделано. В тот же день Фабержей своего доверенного в наши края послал и наказ ему дал.

– Денег не жалея. Только бы камень настоящий и спокойного цвету!

Приехал этот фабержеев доверенный и давай искать. Первым делом, конечно, на Гумешки. Тамошние камнерезы наотрез отказали – нету доброго камня. В Тагил сунулся – есть кусочки, да не того сорту. В заграничной конторе через подставного человека наведалься. Только разве там продадут, коли сами крохами собирали. Совсем приуныл доверенный, да, спасибо, один горщик надоумил:

– Поезжай-ко ты к Евлахе Железку. У этого бесприменно камень имеется.

Недавно он на руки одному такую поделочку сдал, што все здешние купцы по каменному делу да и в заграничной конторе неделю кулаками махали, ногами топали да грозились:

– После этого пусть Евлаха со своей поделкой и на глаза не показывается. За пятак не примем!

А Евлаха посмеивается да ответный поклончик послал:

– Рад стараться с жульем не вязаться. Теперь еще, поди-ко, не забыл, как таким кланяться доводилось. Больше этого не будет. Кому надо, пускай сам ко мне за камешком волокется, а я еще погляжу – кому удружить, кому оглобли заворотить. А самолично вашему брату и беспокоиться не след. Я хоть остарел, а еще так могу по загривку дать, что который и с каменной десятипудовой совестью, а легкой пташкой за ворота вылетит.

Фабержеев доверенный, как услышал это, забеспокоился, спрашивает:

– Видно, этот Евлаха в деньгах не нуждается? Богатый сильно?

– Нет, – отвечают, – богатства особого не видно, а просто уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит. Коли не захочет, рублем не сманишь, а коли интерес поимеет, так недорого сделает. И поделка будет хоть на выставку, а то и в царский дворец поставь. Нигде себя не уронит.

Доверенному полегче стало. «Есть, – думает, – чем Евлаху сманить. Скажу, что для царского дворца камни требуются».

И не ошибся в расчете. Евлаха, как узнал, для чего камни, без слова согласился, спросил только:

– Какой величины камни и какой узор надо?

Доверенный объяснил, что крышки по дольнику должны быть не меньше двух четвертей, поперек – четверть с малым походом, а камни желательно со своим узором. С таким, значит, чтоб на обои ничуть не походило. Евлаха говорит:

– Ладно. Найдется такой камень. Приезжай через неделю.

И цену назначил – по две сотни за штуку. Доверенный, понятно, и рядиться не стал. Хотел еще поразговаривать, да Евлаха на это не больно охочий был, сразу обрезал:

– Сказал – приезжай через неделю, тогда и разговор будет, а то о чем нам у пустого места судить.

Приехал доверенный через неделю – готовы крышки, и не две, а четыре штуки. Все, понимаешь, как внешняя трава под солнышком, когда ветерком ее колышет. Так волны по зелени то и ходят. И у каждой крышки свой узор. Ни один завиток-плетешок полной сходственности не имеет, а все-таки подобрано так, что и бестолковому понятно, какие крышки парой приходятся. Одним словом, мастерство.

Разложил Евлаха свою поделку.

– Выбирай любую пару!

Фабержеев доверенный, конечно, знал толк в камне. Оглядел крышки, не нашел никакого изъяну, полюбовался узором и говорит:

– Покупаю все.

– Что ж, – отвечает, – бери, коли надо. Плати деньги.

Доверенный поскорее рассчитался по уговору, и домой. Мастера фабержеевы похвалили покупку, только тот старик, который посоветовал насчет малахиту, посомневался маленько.

– Вроде, – говорит, – деланный камень, а не натуральный. Ну, руками делан.

Другие мастера засмеялись – выдумывает старик, хочет себя выше всех поставить, а хозяин прямо объявил:

– Ежели и деланный, так не хуже настоящего, а это в мастерстве еще дороже.

Ну вот, изготовили альбом на удивленье. Царь, как узнал, что другая пара крышек есть, настрого запретил – до его приказу эти крышки в дело пускать.

Так они и лежали у Фабержея в запасе и долежали до того году, как самое высокое французское начальство к царю в гости приехало. И приехал с этим начальством мастер, который по брильянтовой плавке отличался. Петергофским мастерам по гранильному и камнерезному делу да и фабержеевым тоже охота была этого приезжего кое о чем поспрошать. Вот они ходили за ним, все едино, как женихи за невестой, угодить старались. Кто-то придумал показать каменные поделки в царском дворце. Разрешили им. И вот в числе тех поделок увидел приезжий мастер евлахины крышки. Подивился красоте камня, вздохнул, да и говорит в том смысле:

– Ловко, дескать, вашим-то! Режь камень без всякой выдумки, и вон какое диво само выходит.

Наши мастера объясняют, что дело не столь просто, потому – камень из кусочков складывают.

– Про это, – отвечает, – знаю. Дело, конечно, мешкотное, а все-таки хитрости тут нет, коли под рукой любого узору камешок имеется.

Один мастер на это возьми и скажи:

– У нас на фабрике насчет этих крышек еще спор был: из природного они камня али из сделанного.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.